

XIV

Брион – Христос, только косоглазый, в шляпе Вараввы. Но в нем нет покорности; он вырывает копье из своего бока и, раздирая до крови руки, ломает терновый венец, оставшийся на его челе, челе бывшего мученика той Голгофы, что зовется Центральной тюрьмой.

Он был приговорен к пяти годам за принадлежность к тайному обществу, но его выпустили на несколько месяцев раньше срока, так как он стал харкать кровью. Вернувшись в Париж без единого су в кармане, он так и не залечил своих легких, но в его изнуренном теле крепко сидит живучая душа Революции.

Проникновенный голос идет из больной груди, как из надтреснутой виолончели. Трагический жест: рука поднята точно для клятвы. Порой его с головы до ног, словно древнюю пифию, потрясает дрожь. Глаза его, похожие на дыры, проткнутые ножом, пронзают закоптелый потолок клубных зал, подобно тому как восторженный взгляд христианского проповедника пронзает своды собора, чтобы устремиться прямо к небу.

Болезни, тюремное заключение не помешали ему заняться изучением великих книг, и он выжал из них весь сок, разжевал самую их сердцевину. Это поддерживает его, как горячая бычья кровь, выпитая прямо на бойне. Он живет своей страстью, – пылкое сердце поддерживает его грудь; из своей болезни он вывел даже целую теорию, и, хотя он не подозревает этого, она является дочерью его страданий и в его устах наводит ужас. «Капитал погиб бы, если б каждое утро колеса его машин не смазывались маслом из человеческой крови и пота. Эти звери из чугуна и стали нуждаются в уходе и наблюдении рабочего».

Ему самому тоже не помешал бы уход за его истекающими кровью бронхами, как не помешали бы его расшатанному организму несколько капель масла, именуемого вином.

Но об этом нечего и мечтать! Он сидит чуть ли не на одном хлебе и воде. Он делает листья к искусственным цветам, а это ремесло сейчас не в ходу. Его орудия производства разрушают остаток его жизни – яд приходит на помощь голоду.

Но другой яд – свет газовых ламп и тяжелые испарения, идущие от массы людей, набившейся в слишком тесных помещениях, – нейтрализует первый: клин вышибается клином. В этой атмосфере Бриона охватывает лихорадка, она электризует его, поднимает над толпой и уносит ввысь.

Как бы то ни было, он живет полной жизнью. Каждый вечер, раздвигая своим красноречием границы настоящего, он за три часа переживает больше, чем иные за целые годы; в своих мечтах он захватывает будущее; больной, он бросает живительные слова легиону рабочих с плечами атлетов и железной грудью, глубоко растроганных при виде того, как этот пролетарий без легких убивает остатки своего здоровья, защищая их права.

Бриона всегда сопровождает товарищ ниже его ростом, одетый в сюртук, какие носят домовладельцы; у него медленная походка, голова всегда немного набок, под мышкой – зонтик.

Он похож – до того, что можно ошибиться, – на человека, который в 1848 году в Нанте поразил меня смелостью своих речей. За эту смелость он поплатился скромной службой, дававшей ему возможность существовать. Его хозяева, задетые и напуганные тем влиянием, какое он приобрел в клубах, дали ему расчет, и он просто, с достоинством, простился с народом.

«Я не могу дольше оставаться среди вас, – сказал он, – я несу крест всех голодающих. Я уезжаю в Париж, там мне, возможно, удастся продать свое время за кусок хлеба... там мне, бедняку, может также представиться случай отдать свою жизнь, если в день восстания потребуется заткнуть собой какую-нибудь брешь».

Несколько времени спустя стало известно, что он принес обещанный дар. Его изрешеченный пулями труп был поднят у подножья баррикады на Пти-Пон – каменной трибуны этого социалиста, загнанного в тупик голодом и нашедшего выход в смерти.

Лефрансе своим желтым задумчивым лицом и глубокими, кроткими глазами напоминает мне этого человека. На первый взгляд кажется, что это смиренный христианин. Но подергивание губ выдает в нем страстность глубоко убежденного человека, а проникновенность голоса – возвышенную душу этого обладателя старомодного зонтика. Горячая, трепетная речь звенит и переливается в порыве гнева; но жесты его просты и скромны, как и его костюм и шляпа, которые ничем не выделяют его из толпы. Его слова не пылают огнем, хотя они и жгут.

Его голова мечтателя почти неподвижна на хилом туловище, стиснутый кулак не потрясает дерево трибуны, своим жестом он не пронзает грудь врага.

Он опирается на книгу, как и в те времена, когда был преподавателем и смотрел за порядком в классе.

Иногда даже в начале его речи кажется, что он дает урок, с линейкой в руках, как настоящий учитель; но стоит ему подойти к сущности вопроса – и он забывает свой педантический тон и становится молотобойцем, выковывающим идеи, которые сверкают и искрятся под ударами его высоко взлетающего молота. Он бьет прямо и сильно. Это самый опасный из трибунов, потому что он сдержан, рассудителен и... желчен.

Желчь народа, огромной толпы с землистыми лицами, проникла в его кровь; она окрашивает его насыщенные фразы, придает его импровизациям звучность медалей из старого золота.

Этот адвокат истекающих кровью страдает революционной желтухой и обладает чувствительностью человека, с которого содрана кожа; уязвленный сам, он язвит других, даже не желая того; он честен и мужествен, и жизнь его так же громко, как и его красноречие, говорит о его убеждениях. Этот Лефрансе – крупнейший оратор социалистической партии.

Дюкас – весь какой-то растопыренный. Он таращит свои круглые глаза; раздвигает острые локти, расставляет заплетающиеся на ходу ноги; широко разевает прорезанный, как щель копилки, рот, откуда вырывается резкий, хриплый голос, звук которого царапает вам не только барабанную перепонку, но и кожу.

– Ты похож на рыжего кота, который пакостит на горячие угли, – сказал ему как-то Дакоста[103].

Он похож также и на кота, царапающего когтями оконные стекла в комнате, где его забыли и где он просидел три дня, изнемогая от голода и бешенства.

Есть что-то двойственное в этом малом с рыжими волосами: он разыгрывает Марата с миной ошеломленного Ласуша[104], проповедует гильотину с жестом марионетки, подражает интонациям Грассо, говоря о «бессмертных принципах», и восклицает: «Ньюф! Ньюф!» – между двумя тирадами о Конвенте.

Сухой, как палка, руки, как спички, ноги, как веретена, весь словно на тонкой железной проволоке, – он кривляется и бренчит, как связка деревянных паяцев у входа в дешевый магазин. А до чего он был смешон в этой роли свирепого шута за столиком кафе, уставленным кружками пива, которые он прибаутками и угрозами отвоевывал у буфетчика.

– Если ты нальешь с пеной, я тебя повешу! А если не принесешь еще две полных кружки – для меня и гражданки, – тебе отрубят голову, когда наступит революция. Утоли же народную жажду, да поживей!

Несчастный хозяин кафе бежит со всех ног, инстинктивно проводя тыльной стороной руки по затылку.

Ньюф! Ньюф!

Но когда «Ньюф! Ньюф!» выступает на собрании, перед народом, – он напоминает Говорящую голову. Он торжественно подымается по ступенькам эстрады, вращая зрачками,

хмуря брови; три волоска его шафранной бородки воинственно торчат вперед. На нем узкий сюртучишко, из которого выпирают его острые кости, и панталоны цвета жженого трута, штормом спадающие на женские ботинки из серого тика. Но его ноги недоноска так малы и сухи, что болтаются и в этих ботинках.

Он прижимает к себе портфель, напоминающий портфель чиновника или учителя городской школы. От долгого пользования черная кожа покрылась белыми пятнами, но тем не менее народ относится к этому портфелю с большим уважением.

Как будто в нем лежат указы революции, постановление об ограничении богачей, смертный приговор спекулянтам и объявления для наклейки на дверях Комитета общественного спасения.

Этот портфель создал ему репутацию сурового труженика, поглощенного своей работой социалистического монаха или методичного террориста. И когда его маленькая фигурка появляется на трибуне и он медленно-медленно раскрывает свою кожаную папку, чтобы достать из нее какую-то заметку, а потом, гнусава, читает ее, как читает священник стих из евангелия, который он собирается толковать, – среди собравшихся проносится шепот: «Тсс!..» Сморкаются потихоньку, как в церкви перед началом проповеди, и правоверные, убежденные, что «все должно быть, как в 1793 году», благоговейно слушают его, косо поглядывая на соседей, подозреваемых в модерантизме.

– Вот этот без колебаний отдаст приказ рубить головы!

Это сказано нарочно для меня... для меня, который, пожалуй, призадумался бы над этим. В зале Денуайе за мной установилась репутация человека, который не стал бы действовать так, как «наши отцы», отступил бы перед крайними мерами и после третьей жертвы предложил бы палачу пойти закусить и выпить.

Но Дюкас поступил бы, как «наши отцы», и, чтобы не пропадало даром время, собственноручно принес бы завтрак на эшафот.

– Да, граждане, только в тот день я по-настоящему исполню свой гражданский долг и сочту себя достойным высокого звания революционера, когда по моему указанию сделают «чик-чик» какому-нибудь аристократу.

И он издает это «чик-чик», сопровождая его сначала жестом забавника-полишинеля, – народу нравятся дерзкие и смешные гримасы, – а затем повторяет это движение с торжественностью исполнителя приговора над Стюартом или Капетом, который обнажает шпагу, опускает ее на королевскую шею и отсекает голову, дотоле священную и неприкосновенную.

Его слова точно лижут нож гильотины, и он оттачивает лезвие на оселке своего жестокого и бичующего красноречия. Как обезьянка, цепляющаяся хвостом за веревку колокола, он хватается, смеясь, за веревку палача.

11 часов вечера

Ну конечно, сказано все, что было нужно сказать. Я почувствовал вдруг, что существует еще одна неизвестная партия, минирующая почву под стопами буржуазной республики, и я предугадал близкую грозу. Непоправимые слова вспыхнули под низким потолком, как зарницы в готовом разверзнуться небе.

Депутаты Парижа покинули зал подавленные и униженные, смертельно бледные перед агонией своей популярности.

Версия #1
[REDACTED] [REDACTED] создал 30 апреля 2026 15:05:54
[REDACTED] [REDACTED] обновил 30 апреля 2026 15:06:55